

LUDMIŁA SZEWCZENKO

**Личные записи как надежда на жизнь
(Блокадная книга Алеся Адамовича и Даниила Гранина)**

**Personal notes as a hope for life
(*A book of the blockade* by Ales Adamovich and Daniil Granin)**

Abstract. In recent years there has been a rise in interest in documentary works based on personal memories of participants and witnesses of different events. *A book of the blockade* by Ales Adamovich and Daniil Granin is based on the recollections and diaries of Leningrad residents who survived the blockade. It carries great emotional, philosophical and moral weight, and gives an understanding to what the residents of the city believed in and hoped for. Using the materials of *A book of the blockade* the author of the article aims to analyze how documents and the writers' side notes affect a reader, and pinpoint the ways of presenting the notion of hope in the authentic diaries of Leningrad residents. As a result of the analysis of the mentioned text, the author reaches a conclusion that in the diaries the feeling and the emotion of hope is continuously updated in the course of creation of personal diaries by Leningrad residents. The concept of hope reflected on in *A book of the blockade* has a complex content, which can be associated with the triune concept of faith-hope-love. In the discourse of the authors, the concept preserves its Christian meaning – the spiritual salvation of a person. Yet its specifics is that the religious component is initially missing, and is subsequently gained through considerable changes that happen within and without those whose testimonies are collected in the book, and within and without the authors of the text, Adamovich and Granin.

Keywords: Adamovich, Granin, *A book of the blockade*, hope, diary, fiction and documentary literature

Ludmiła Szewczenko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce – Polska, szewczenko@ujk.edu.pl, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3939-2438>

Война всегда ассоциировалась со смертью, потерей близких, голодом и разрухой. Одной из первых открыла читателю в СССР подлинную правду о трагической судьбе людей во время Второй мировой войны художественно-документальная литература, развивающая традиции русской словесности. Самим фактическим материалом, показом реального трагизма бытия человека на войне она несла протест против любого насилия. Воздействие

ее на читателя огромно, хотя формы и способы представления материала отличны от тех, что присущи литературе художественной.

Целью данной статьи является:

- 1) анализ причин обращения современной художественной литературы к документальным источникам;
- 2) рассмотрение механизмов влияния документов и авторских отступлений в документалистике на читателя;
- 3) осмысление представления в дневниках ленинградцев переживания/чувства/концепта НАДЕЖДА в *Блокадной книге* Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

Сразу отметим, что наличие и взаимопроникающее соседство документального и художественного начал естественно и прослеживается уже в древнерусских летописях, синкретический характер большинства из которых был тем не менее определен преобладанием содержащегося в них конкретно-исторического материала и предполагал его восприятие как реально случившегося. С летописанием тесно связано формирование на Руси патериковой традиции. В Киево-Печерском, Волоколамском и других патериках наряду с рассказами о событиях, имевших место в действительности, и известных лицах, повествование о которых включает в себя документально подтверждаемые подробности и конкретные исторические реалии, мы встречаем серии рассказов о героях фиктивных, описание которых не содержит точных пространственно-временных координат, практически лишено исторического контекста и отличается условностью¹. С развитием литературы как особого вида художественного творчества все дальше совершался отход от конкретного, фиксируемого в документах материала, на основе которого создавалось произведение, к образному, обобщенному воссозданию действительности. Сочетание реальных фактических данных с вымышленным, опирающимся на обобщенный образ повествованием нетрудно найти в произведениях русской литературы и более поздних периодов, скажем, у Николая Новикова, Дениса Фонвизина, Александра Радищева, Николая Карамзина, Александра Герцена, Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Гончарова, Николая Помяловского, Антона Чехова, Глеба Успенского, Михаила Шолохова, Александра Фадеева, Ильи Эренбурга, Константина Паустовского, Александра Солженицына, Евгении Гинзбург, Натальи Ильиной и других авторов, перечень фамилий которых занял бы несколько страниц. Различным был подход писателей к самому документу, неодинаковы критерии его отбора, способы

¹ См. работы Марины Башлыковой, Владимира Алтаева, Станислава Росовецкого, Евгении Кононко и др. авторов, посвященные древнерусской литературе.

использования и включения в текст, идейно-эстетические функции в произведении. Трансформируясь согласно общей манере повествования и чаще всего вводясь в текст в своей непосредственной данности, документ не разрушал ткань художественного произведения, воспринимался в его контексте эстетически, хотя и предполагал отношение к запечатленному в нем как к знаку реального, а не вымышленного писателем и потому условного мира. Вместе с тем истина, соотносящаяся с представлением авторов о прекрасном, в этих произведениях высвечивалась и доказывалась не столько подбором неоспоримых фактов, сколько движением образов, через воссоздание второй, творимой авторами действительности.

Вторая половина XX века дала образцы художественных произведений, в которых очевидна не только опора на документ или ассимиляция его в авторский художественный текст, но и полотна, где он является самой „тканью”, „материей”, основным носителем информации, воспринимаемой в своей целостности эстетически. Возникновение этой литературы, которая о себе заявляет различными жанрами и попадающим в поле зрения авторов материалом, вызвано, с одной стороны, усилившимся читательским интересом к определенным общезначимым фактам в их непосредственной данности и недоверием к официальным трактовкам событий недавнего прошлого, навязанным сверху стереотипам. С другой – очевидным стремлением литературы отойти от традиционного и порой уводящего от действительности субъективированного ее пересоздания, попытками начать использовать новые средства и способы образной реконструкции прошлого и настоящего.

В последние годы значительно увеличился интерес к документальным произведениям, в основе которых лежит автодокумент: к мемуаристике, личным воспоминаниям и *ready-made* текстам, составленным из свидетельств участников и очевидцев конкретных событий. В них существенной трансформации подвергается категория субъективности, на которую интенсивно влияют сближение постмодернизма и реализма (постреализм), присущие дискурсу современной эпохи попытки нивелировки авторитаризма и плюрализм мнений. Наиболее известными среди них стали актуализирующие „жанр человеческих голосов, исповедей, свидетельств и документов человеческой души” произведения Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника *Я из огненной деревни...* (1975), первая часть *Блокадной книги* (1977–1984) Адамовича и Гранина, книги Светланы Алексиевич *У войны не женское лицо* (1983), *Последние свидетели* (1985), *Цинковые мальчики* (1989), *Зачарованные смертью* (1993), *Чернобыльская молитва* (1997) и ее же отмеченная Нобелевской премией книга *Время секонд хэнд* (2013), а также относящаяся к „сентиментальной «литературе факта»” (Krasovskaâ) книга

Людмилы Улицкой *Детство 45–53: а завтра будет счастье* (2013) и ряд других. Каждое из этих произведений построено как монтаж документальных данных. Несмотря на фрагментарность изображения действительности, всем им присуща целостность, в основе которой лежит единство авторского переживания, интерес к общей судьбе героев. В них голос автора, обращенный непосредственно к читателю, комментирует представленный фактический материал, дополняет его иными сведениями и выводит читательские размышления об изображенном за его конкретные границы, раздвигает его пространственно-временные рамки и заставляет апеллировать к понятиям, представлениям общего порядка.

Возникновение так называемых „монтажных книг” литературоведы относят к началу XX века и связывают с „жанром политических пропагандистских монтажей”, возродившимся позднее в период „оттепели”. Илья Кукулин отмечает, что название *Блокадная книга* недвусмысленно отсылает к составленной на основании разных документальных источников *Черной книге*, посвященной памяти жертв Холокоста. Ее создание было осуществлено в 1944–1947 годах руководимой Василием Гроссманом и Илей Эренбургом Литературной комиссией при Еврейском антифашистском комитете, с которым сотрудничало несколько десятков писателей и журналистов, писавших об истории Шоа в СССР и в оккупированной нацистами Польше (Kukulín). Однако, в отличие от являющейся гетерогенной по жанру, написанной многими авторами *Черной книги*, *Блокадная книга* являет собой уже „единый авторский текст, в котором введение цитат всякий раз мотивировано, использованные фрагменты отредактированы, а читателю предложены «правильные» выводы и обобщения, сделанные авторами и использовавшие советскую официозную риторику” (Kukulín). Исследователь пишет, что подобного рода выводы и комментарии „были частью негласного пакта с цензурой, заключенного Адамовичем и Граниным, как и многими другими подцензурными писателями, – без «завершающего слова» фрагменты из дневников бы не напечатали” (Kukulín). Кукулин подчеркивает, что в СССР тема блокады Ленинграда была полузапретной.

К 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда был издан том документов под названием *Люди хотят знать. История создания „Блокадной книги”*. В нем собраны материалы, свидетельствующие о том, что уже при издании журнальной версии из *Книги* были изъяты страницы, в которых речь шла о просчетах, допущенных руководством в организации эвакуации ленинградцев, а также где говорилось о том, как вывозили детей. Изымались рассказы о появлении в городе фальшивых карточек на продовольствие, данные о количестве умерших, описания похорон и упоминания каннибализма. И все это делалось потому, что в Советском Союзе якобы не было ни про-

счетов у руководства, ни преступлений, ни разного рода злоупотреблений, и ничего, что позорило бы советского человека (Nelûbin). При этом *Блокадная книга* Адамовича и Гранина, выйдя в свет „даже со значительными цензурными правками, не только изменила представление о том, что довелось пережить блокадникам, каковы были пределы человеческих возможностей, но и породила мощнейший отклик в среде читателей, тех, кто перенес это страшное испытание” (Nelûbin). Ее влияние на читателей и на вышедшие впоследствии ready-made тексты, художественно-документальную литературу в целом – неоспоримо.

Известно, что для первой части *Блокадной книги* Адамович и Гранин записывали, собирали рассказы людей, переживших блокаду Ленинграда, которая продолжалась два с половиной года – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 – и унесла полтора миллиона человеческих жизней. Для второй – использовали сохранившиеся с того времени дневники, и для нас эта часть представляется наиболее ценной. Размышляя над причинами, побудившими авторов к ее написанию, оба прозаика замечают:

Нас интересовали истоки, то, как рождалось у тех или иных людей сознание необходимости терпеть любые лишения во имя победы, как возникал, формировался дух стойкости, сопротивления, сохранявший непреклонность и человеческое достоинство в самых отчаянных обстоятельствах. Нам нужен был процесс подлинный, не подправленный знанием свершившейся победы. Единственной возможностью узнать, раскрыть то, что происходило в душах людей, было – обратиться к документам тех лет. И лучшими из них были дневники (Adamovič, Granin 231).

Адамович и Гранин не только сразу определяют задачу, которую ставят перед собой. С полной мерой ответственности за используемый ими материал они пытаются осмыслить, что же он представляет сам по себе, какова его общечеловеческая ценность. Сами также являясь свидетелями и участниками Второй мировой войны, переживая заново события того времени, Адамович и Гранин в *Блокадной книге* включают в текст повествования и свои размышления о прошлом и настоящем. Ведь они тоже своеобразный документ, зафиксированное свидетельство тех, кто пытается пережить и осмыслить все заново.

Адамович и Гранин пишут, что в представляемое в их книге время „дневники стали вести сравнительно многие ленинградцы”; „возможно, такое происходило с началом войны и в других прифронтовых городах”, но именно „в Ленинграде явление это достойно внимания” (Adamovič, Granin 286), потому что порой сам процесс их создания помогал обрести их писавшим спокойствие, веру в себя и надежду на окончание ужасов. Неслучайно подмечено, что написание дневников есть по сути явлением „психологической

самопомощи”. Дневник отражает тончайшие переживания человека, причем даже в случае, если сами его чувства не называются, а помимо желания автора выражаются в способе представления информации, в акцентации разных деталей, в самой интонации дневникового повествования. В каждом из дневников все описанное всегда связано с ценностями, намерениями, желаниями его автора. В процессе создания дневников

пересматриваются также события прошлого. По мере этой работы в жизни появляется дополнительный смысл, „нечто большее”. Человек осознает то, что прежде выходило для него за пределы зоны ближайшего развития, то, что раньше не было возможно знать (Kutuzova, *Terapevtičeskoe vedenie dnevnika po metodu Ajry Progoffa*, электронный ресурс).

В центре внимания авторов находятся личные записи трех человек: историка Георгия Алексеевича Князева, матери двоих детей Лидии Георгиевны Охупкиной и 16-летнего подростка Юры Рябинкина. Помимо других, представленных в произведении лиц, именно они являются главными героями второй части *Блокадной книги*. Их индивидуальные и в то же время во многом типичные образы создаются авторами из их же записок. Не предназначенные для публикации, дневниковые записи этих реальных людей чаще всего повествуют о событиях бытовых и порой приземленных: утепление жилья, еда, добыча дров и т. п. Между тем именно эти документально точные зарисовки жизни блокадного Ленинграда несут на себе огромную эмоциональную и философско-нравственную нагрузку, дают понимание того, во что верили и на что уповали, надеялись жители города, чем для них в эти дни были вера, надежда, любовь.

„Мама купила на свою карточку недельный паек – 150 гр. – драже и отдала (у ней был долг) Анфисе Николаевне. Та ей только сказала спасибо и преспокойно взяла себе. Теперь у нас осталось всего-навсего 6–8 конфеток на 10 дней декады! Завтра их уже не будет, это как пить дать”, – записывает Юра Рябинкин (Adamovič, Granin 328). Проблема еды для блокадников наполняется философско-нравственным содержанием, не менее глубоким, чем гамлетовское „быть или не быть”. Стремясь в своих записях к объективному изложению событий, историк Князев отмечает:

Сегодня вечером настойчиво кто-то стал стучать к нам. Пришлось отпереть. Ввалился Филимонов. [...] Сегодня он был страшен, оброс волосами, почернел. В руках у него оказалась зажженная свеча, и с ней он повалился на колени: „Спасите, погибаю, потерял карточки, дайте хлеба”. Жена растерялась. Что мы могли поделать? Отдать свой дневной паек, т. е., сто двадцать пять граммов? Но это бы ведь его не спасло! Чем и как мы могли бы помочь ему? Я вынул и дал ему тридцать рублей, стоимость ста граммов хлеба на рынке. Филимонов взял деньги, заверяя, что ему горько, тяжело, страшно просить (Adamovič, Granin 327).

Люди делали все возможное и невозможное, чтобы выжить, спасти своих близких:

Ниночка моя, – пишет Лидия Охупкина, – все время плакала, долго, протяжно, и никак не могла уснуть. Этот плач, как стон, сводил меня с ума. Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала сосать ей свою кровь. В грудях молока давно не было, да и грудей совсем уже не было, все куда-то делось. Поэтому и прокалывала иглой руку повыше локтя и прикладывала дочку к этому месту. Она потихоньку сосала и засыпала (Adamovič, Granin 356).

Психологи неоднократно отмечали, что ведя дневники,

люди достигают двух целей: размещают момент настоящего в более широкой перспективе прошлого и будущего, и одновременно устанавливают контакт с ценностями, смыслами и руководящими принципами нашей жизни. [...] Становится доступной более широкая, многомерная перспектива, открывающая пространство возможностей. Размещая себя по отношению к собственной жизни, люди отмечают подъемы и спады, циклы, и тем самым создается контекст длящейся тождественности, преемственности существования (Kutuzova, *Terapevtičeskoe vedenie*..., электронный ресурс).

В дневнике Юры Рябинкина можно увидеть все свойственные подросткам метания и колебания настроений, самокопание, суицидальные размышления и стремление проявить себя, динамику внутреннего созревания, взлеты надежды, мечты и отчаяние, осмысляемые им же с особенной честностью и прямоотой. Комментируя его записи, авторы книги пишут:

Из всех виденных нами дневников дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко. Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки: начиная писать, он как бы исповедовался перед неким слушателем, обращая через дневник к самому себе упреки, осуждение. Дневник становился как бы совестью, которая его словами, но отчужденными, обращалась к нему, Юре. Его честная размышляющая натура тревожно следит за собою (Adamovič, Granin 340).

Быстро растущему подростку трудно совладать с постоянным голодом, теми многочисленными обязанностями, которые ему, истощенному, приходится выполнять дома, в семье и – как жителю осажденного Ленинграда (отоваривание карточек и присмотр за сестренкой, тушение авиабомб и другие работы на холоде в городе). Юноша начинает врать, грубить матери, драться и всячески унижаться из-за еды, и авторы замечают: „Дневник его постепенно становится свидетелем мучительной борьбы [...] с самим собой, со стыдом перед матерью. Свидетелем и отчетом. Дневник делается союзником Юры в неравной схватке с инстинктом, с пожирающим внутренности голодом” (Adamovič, Granin 341).

В отчаянии Юра делает следующую запись: „Насчет эвакуации я потерял надежду. [...] В школе учиться брошу – не идет учеба в голову. Да и как ей пойти? Дома голод, холод, ругань, плач, рядом сытые”, – имеются в виду соседи по коммуналке, которые готовят на общей кухне еду, а у Рябинкиных нечего есть (Adamovič, Granin 346). После подачи матерью заявления на эвакуацию Юра записывает: „Надеюсь на лучшее”, и в ожидании этого лучшего пытается понять, что же с ним происходит, мучится совестью:

Какой я эгоист! Я очерствел, я... Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. [...] Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь, этого хватило бы для меня, но этого не будет. Не будет эвакуации, и все же какая-то тайная надежда в глубине моей души. Если бы не она, я бы воровал, грабил, я не знаю, до чего дошел бы (Adamovič, Granin 347).

В ожидании разрешения на выезд подросток записывает: „Все мои надежды поставлены как будто на кончик ножа и держатся в некотором колебании. Какой-то будет ответ на заявление мамы о вылете?” (Adamovič, Granin 354) Юра анализирует все, с ним случившееся, задается вопросом, возможен ли стать ему прежним. Он пишет:

А ведь что со мной было? Ел kota, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях и дрался у дверей магазинов за право пойти и получить 100 г. масла... Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии от истощения, чтобы встать со стула, – это была для меня такая огромная тяжесть. Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов... Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый эгоистичный характер. [...] Неужели я не исправлю своего характера? (Adamovič, Granin 384).

Комментируя записи Юры Рябинкина в их временной эволюции, Адамович и Гранин показывают, что:

Дневник для Юры все более становится средством, помогающим во что бы то ни стало удержать себя от сползания, которое уже началось! Стыдом удержать себя! Нет у Юры другого оружия в борьбе с голодом, в борьбе с тем, что, как утверждают многие, „правит миром”. И чтобы заострить свое оружие, Юра заостряет свою вину. Мало того: специально записывает в дневник все, за что будет и после смерти стыдно. Мать (или кто-то еще) прочтут ведь! А смерть – вот она, рядом. И она отдаст дневник у руки матери (Adamovič, Granin 390).

Слово „смерть” появляется в дневнике Юры не единожды. Поначалу он его использует для бравады: смерть для Юры в начале войны – лишь абстракция, и, жалея себя из-за невозможности по здоровью попасть на учебу

в спецшколу, он, становясь в позу, даже просит, чтобы она к нему поскорее пришла, хотя, чувствуя фальшь, тут же и добавляет: „Черт знает какие только мысли лезут в голову”. Позднее, повидав уже много реальных смертей, он совсем по-другому относится к жизни. Авторы книги показывают, что с течением времени:

Саму мысль о смерти Юра использует, чтобы укрепить себя, свою волю. Тесным обгладываемым голодом, Юра сдает позицию за позицией. А дневник – как последнее средство! – становится все более откровенным, страшным. Вот что ты делаешь, вот что будет читать мама, люди будут читать, узнают о тебе... Он и маму начинает любить больше, чем в мирное время. Совесть одолела страдания, раскрыла его сердце, сделала его более отзывчивым (Adamovič, Granin 390).

Из Юриных записей мы узнаем, что когда эвакуация откладывается, а мать подростка заболевает (причем ей как уволившейся для отъезда карточек не выдают), он берет себя в руки и записывает в дневнике: „Если эвакуации не будет – у меня живет-таки надежда на эвакуацию, – я должен буду суметь продержаться маму и Иру. Выход будет один – идти санитаром в госпиталь” (Adamovič, Granin 390). Причем это пишет парнишка, который сам еле ходит.

Осмысляя причины, которые подтолкнули реальных героев произведения к созданию дневников, Адамович и Гранин замечают, что Юра Рябинкин начал писать, чтоб понять себя и „убить время”, а записки мечтавшего стать писателем пятидесятипятилетнего Князева „с ранних лет посвящены были – давно и постоянно – одному вопросу: куда идет человек, человечество?” (Adamovič, Granin 235). Передвигающийся по городу в инвалидной коляске Георгий Алексеевич Князев многое происходящее в нем лично не видит, но слушает радио, продолжает работать в Архиве, общается с сослуживцами. В своем дневнике уже в самом начале войны Князев задается вопросом, зачем он ведет его, и отвечает себе: „Не могу не писать. [...] «На моем малом радиусе» – вот содержание моих записей” (Adamovič, Granin 236). Во всем им написанном очевидна надежда на мирное будущее, вера в те идеалы, которые Князев впитал в себя под влиянием пропаганды:

Для кого же пишу? Для тебя, мой дальний друг, член будущего коммунистического общества, которому будет чужда и органически отвратительна война, как противна нам, противоестественна антропофагия – людоедство... [...] Я верю, и здесь я неисправимый мечтатель, что настанет такое время, когда войны не будет на земле.

[...]

И если дойдут до тебя, мой дальний друг, может быть в отрывках, обгоревшие эти страницы, ты переживешь вместе со мной, чем жил и волновался твой несчастный предшественник, которому пришлось жить в „доисторическую” эпоху, но на заре истинной человеческой истории (Adamovič, Granin 236).

Авторы книги отмечают, что „блокадные дневники Георгия Алексеевича Князева – огромная духовная работа. Она врачует, дает заряд сил и надежд. Работой этой он непрестанно укрепляет и расширяет то самое предполье, которое отодвигает голод, холод, отчаяние” (Adamovič, Granin 318). Хотя само понимание того, на что можно надеяться, постепенно меняется. Советский историк Князев в самом начале войны был уверен в том, что народы Европы восстанут против фашизма, и что начальство на случай вторжения все уже предусмотрело. Его трактовки таких концептуальных для русской культуры понятий, как вера, надежда, в тех записях, что относятся к первым военным дням, прямолинейны, идеологизированы. Пораженный происходящим, на двадцать четвертый день блокады Князев записывает, что надеется на молниеносный удар по противнику, все, конечно же, быстро закончится, сам же он все трудности выдержит. Он пишет: „[...] наш город, я твердо верю в это, не попадет в руки врага!”, а все ценные рукописи из Архива „будут со вторым эрмитажным эшелонам отправлены в надежное место” (Adamovič, Granin 250). На шестьдесят третий день (23.08.1941) эта надежда у Князева еще сохраняется, и он замечает:

...Все мы живем сейчас надеждой, что прижатые к морю немцы будут взяты в плен или уничтожены морской артиллерией Балтийского флота [...] Сегодня весь день прожили этой надеждой, что немцы будут отброшены от Ленинграда. Живем и другой надеждой – что на юге армии Буденного удалось выйти из окружения! (Adamovič, Granin 266),

однако реального положения дел он не знает.

Со временем представления Князева о происходящем меняются, и хотя он по-прежнему верит в победу народа под руководством коммунистической партии, верит в общественный разум, – им начинают овладевать и сомнения в своих собственных силах, порой возникает критическое отношение к тем установкам, которые были навязаны правящей идеологией. Вера в партию и коммунизм его как советского человека не покидает, он еще строит огромные планы на будущее, вместе с тем в его дневнике за февраль 1942 мы читаем записи уже с иным содержанием. В них в центре внимания прежде всего уже близкие люди, жена, размышления о любви к человеку и, как ни покажется странным для Князева, размышления о Христе и о Боге:

Двести тридцать второй день войны. Лихорадочно тороплюсь жить... Дивный, редкий около меня человек, жена-друг М. Ф. Сегодня она именинница...

Сегодня ночью, как всегда, проснулся в кромешной тьме и обдумывал свою любимейшую тему о Христе, этом удивительном учителе любви и милосердия из дальней Галилен (Adamovič, Granin 425).

Князев записывает:

Всю жизнь я решал вопрос о боге, о природе. Признаюсь, все эти вопросы так и остались открытыми. Правда, я неверующий. Но правильное, что я – отстранивший от себя решение этих вопросов. Они выше меня. Я знаю только, что бога, управляющего миром по законам любви, нет. А другого бога я не знаю и знать не хочу. Я сам себе бог... Бог же как тождество с природой, самотворчество природы для меня непостижим. Слишком грандиозна вселенная, велики и сложны ее законы, загадочно начало жизни, так замысловато устройство животного тела и страшна иррациональность природы (Adamovič, Granin 427).

Князев убежден, что „будущее человечества – это культурное будущее, расцвет культуры”, и он записывает в дневнике: „Человечество достигнет этой степени своего развития и поистине станет культурным человечеством. Вот что меня бодрит в тяжелые, мрачные дни, переживаемые человечеством” (Adamovič, Granin 428). Он размышляет о том, что „наша эра” должна или оправдать себя, или смениться другой „нашей эрой”, которая, как казалось тогда его верившим в коммунизм соотечественникам, началась 7 ноября 1917 года. Но сам он уже начинает во всем сомневаться, поэтому весь абзац завершают слова: „Будущее покажет, так ли это” (Adamovič, Granin 428).

Комментируя записи Князева, Адамович и Гранин пишут:

Г.А. Князев не просто подводит итоги работам, мыслям своим и не всего лишь тоскует над неосуществленными своими планами. И не в том дело, что он, рассчитывая в глубине души, что „бумага живучее человека”, эти планы вносит в свои записки [...]. Дневники Князева зафиксировали не только духовную работу одного из ленинградцев-блокадников, рассчитанную на будущее, но и тот факт, что такая работа (завтрашняя) ленинградцу необходима была ради того, чтобы остаться человеком сегодня.

Самые дорогие ему, в трудах выношенные мысли: о трагических попытках спасти мир любовью, о „простой” любви, любви мужчины и женщины, и, наконец, о смысле человеческого существования – все идет в работу, чтобы противостоять обидной, оскорбительной ситуации, когда от каких-то „граммиков” хлеба зависит столь многое... (Adamovič, Granin 425).

Давно установлено, что „от ведения записей что-то меняется внутри, люди могут переживать это как прорыв или высвобождение чего-то” (Kutuzova, *Čto takoe „narrativnyj podhod v terapii i rabote s soobšestvami”*, электронный ресурс). Это легло в основу широко применяемой нарративной терапии (Kutuzova, *Terapevtičeskoe vedenie...*, электронный ресурс). Такой терапией можно считать в книге записи Лидии Охупкиной, которые отличаются от представленных выше тем, что они были сделаны позже. Охупкина сообщает:

Начала я их как раз в День Победы. Все веселятся, а на меня нахлынуло, и я села писать. Специально для мужа, для сына писала – муж воевал за „кольцом”, а сын ничего не помнит. И я поклялась, что напишу только правду. Только правду! За месяц все записала. А тогда, в блокаду, мне не до того было, совсем не до того было, совсем не до того (Adamovič, Granin 243).

Героиня о войне и блокаде пишет с точки зрения матери и в воспоминаниях передает свои чувства: заботу о детях, любовь к ним, тревогу, обеспокоенность и надежду на выезд из города, встречу с супругом, надежду на окончание мук и победу. Представляя читателям записи Лидии Охапкиной, Адамович и Гранин так объясняют решение их включить в свою книгу:

[...] Лидия Охапкина ничем специально не отмечена и выбрана была нами прежде всего потому, что все записала добросовестно, правдиво, только в этом ее отличие от других женщин, которые с не меньшим чувством и силой сражались за жизнь своих детей. Записки Лидии Охапкиной – та щель, через которую мы можем заглянуть в сокровенный мир материнской любви и самоотдачи. Эта любовь побуждала на отчаянные поиски спасительного выхода (Adamovič, Granin 355).

Оставшаяся с двумя маленькими детьми в осажденном врагами городе и не знавшая о судьбе своего мужа на фронте, Лидия Охапкина в своих записях вспоминает тяжелую зиму 1941–1942. Мороз доходил тогда до 30–40 градусов, нечем было топить, и все, что у них было в доме, выменивалось на еду. Однако у женщины была цель – сохранить жизнь детей, и надежда на то, что когда-нибудь все это кончится. Лидия пишет: „По квартире бегали и пищали голодные крысы. Они грызли обои, которые раньше ведь клеились клеем, сделанным из муки, т. е. жидким тестом” (Adamovič, Granin 355). И далее: „...Я мысленно хотела, чтобы смерть пришла вместе с детьми, так как боялась, если, например, меня убьют на улице, дети будут плакать, звать: «Мама, мама», а потом умрут от голода в холодной комнате” (Adamovič, Granin 356).

В записях Лидии Охапкиной часто встречаются натуралистические описания, много физиологии. В одной из записей она откровенно, без всякой брезгливости повествует о том, как однажды получила на карточку 200 граммов гороха, сварила суп и, оставив его попариться в печке, пошла к умиравшей соседке. Возвратившись домой и увидев открытой кастрюльку, она узнала, что сын лазил туда: в суп попала та тряпочка, которой ему бинтовали ручки, чтоб он ненароком чесоткой не заразил ни сестренку, ни мать. Спустя много месяцев Лидия в воспоминаниях пишет: „Суп выплескивать было жалко. Так и ели... До сих пор не забуду этого случая, да и он тоже долго помнил” (Adamovič, Granin 359).

Авторы книги пишут, что у них не раз поднималась рука вычеркнуть эти места, удалить, как они удаляли „ужасные в своей бесчеловечности, детали и эпизоды кошмарные, которые и придумать нельзя и знать про них не хочется, ничего кроме ужаса и тоски они не вызывают” (Adamovič, Granin 360). Однако воспоминания Лидии Охапкиной они оставили без изменений, ибо они отмечали „уровень человеческих страданий”, показывали, как ленинградцы в те дни, чтобы выжить, „переступали брезгливость”, и „это запомнилось как отметка (вот куда дошли), и вспоминали о тряпочке, не стыдась, не укоряя себя” (Adamovič, Granin 360).

Записи Лидии Охапкиной показывают, как изо всех сил она борется за жизнь любимых детей. Она надеется на эвакуацию и на какую-то помощь со стороны, но когда ситуация достигает предела возможного, как и многие бывшие атеисты, сама неожиданно для себя начинает молиться. Так, когда потерялась ее продуктовая карточка и жить в сплошном холоде и без хлеба до получения карточки новой им оставалось пять дней, она ночью не может заснуть, а спустя много месяцев вспоминает:

Тяжелые мысли о смерти меня преследовали. Я чуть с ума не сошла от дум и горя. [...] Я встала и бросилась на колени и стала молиться, молиться со слезами. Иконы не было, да я и не знала ни одной молитвы. Дети мои были некрещенные, да и сама я не верила в бога. Правда, во время тревоги я иногда мысленно шептала: „Господи, спаси, не дай погибнуть”. Но в этот раз я к богу обращалась с другой просьбой и с другими словами. Я горячо шептала: „Господи, ты видишь, как я страдаю, как голодна и как голодны мои маленькие дети. Нет больше сил. Господи, я прошу, пошли нам смерть, только чтоб мы умерли сразу все. Я не могу больше жить. Ты видишь, как я мучаюсь. Господи, пожалей ни в чем не повинных детей” – и тому подобные слова (Adamovič, Granin 363).

И на следующий день так случилось, что к ней пришла помощь: муж передал ей посылку с продуктами и письмом с фронта.

Мы не случайно приводем здесь много цитат. Не трудно заметить, что в дневнике Юры Рябинкина, как и в записях Князева и Охапкиной, постоянно присутствует слово *надежда*. То чувство, которое им именуется, переживание его как глубокой эмоции зачастую вербализуется в тексте синонимичными единицами или эквивалентными смысловыми конструктами с целой серией близких ему семантических компонентов. И подобное не случайно. Не зря Марина Пименова, помещая *надежду* в круг самых значимых для этноса культурных смыслов, пишет:

Для русского языкового сознания свойственно чувственное начало, которое предопределяет исход событий в жизни. Человек может сделать невозможное, если это действие предваряется наличием *надежды* (*есть надежда на что/на кого; (не) существует надежда на что/на кого*) (Pimenova 87).

В свою очередь, Тимур Радбиль замечает, что

русский уникальный концепт надежда связан с верой, что видно уже из его словарного толкования 'вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного, благоприятного'. Этим он отличается от соответствующих концептов в английском (hope) или во французском (espérance): в русском слове отсутствует имеющийся в этих словах компонент смысла 'уверенность в возможности осуществления'. Русский концепт надежда, в ряду других русских ключевых представлений, отражает идею непредсказуемости и неконтролируемости – сравним русский возвратный глагол надеяться (где состояние замкнуто в сферу субъекта и не переходит на объект) и английский переходный глагол hope, отражающий представление об активности действия и его направленности на объект (надежды) (Radbil 247).

Юра Рябинкин сначала надеется на быстрый конец войны, потом на прорыв блокады, а позже – на мать, на родных и на эвакуацию. Георгий Алексеевич Князев – в начале войны на партию и ее мудрое руководство, восстание против фашизма народов Европы, затем главным образом на советский народ, стойкость, выдержку сослуживцев, духовную силу и мужество ленинградцев, а в самых критических ситуациях вспоминает о Боге. Лидия Охупкина надеется на родных, на помощь сражавшегося на фронте мужа и его товарищей, на эвакуацию, а в минуты отчаяния, даже будучи до этого, как и Князев, неверующей, она обращается к Богу. И все они, как и те, о ком пишут в своей книге Адамович и Гранин, подпитывают свою веру, надежду – работой любви к своим близким, духовными поисками и писанием дневников.

В *Блокадной книге* Адамовича и Гранина представлены дневники, ориентированные на изображение текущих событий. Все записи героев, отражая при этом и эволюцию их внутреннего мира, даются в хронологической последовательности. Их лаконизм, спокойная интонация избавляют повествование от излишней патетики и экзальтации, приближают изображаемое к читателю. Именно в такой стилистический контекст наиболее органично включается авторская речь, использующая как интонации душевного разговора с другом-читателем, так и всевозможные приемы ораторского искусства.

В опубликованных в *Блокадной книге* Адамовича и Гранина записях и дневниках можно видеть, что само **чувство надежды, переживание ее как эмоции**, возникающей при ожидании исполнения желаемого и как бы предвосхищающей саму возможность его же свершения, **актуализируется процессуально** в ходе создания героями личных записей и дневников. Реализуемый же во всем тексте книги **концепт надежда** имеет достаточно сложное содержание. Это одно из главных понятий русской и мировой культуры. В частности, в автореферате диссертационной работы Максима Жука

Концепты ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ в идиостиле Булата Окуджавы мы читаем:

Данные лексикографических источников говорят о том, что в русской языковой картине мира содержание концепта НАДЕЖДА составляют следующие компоненты: 1) чувство, 2) ожидание, 3) что-то хорошее, благоприятное, 4) безопасность, 5) направленность в будущее, 6) уверенность в осуществлении задуманного, желаемого. Кроме того, выделяются потенциальные семы, которые только косвенно отражены в словарных дефинициях и реализуются лишь в определенном контексте: 7) сомнение в осуществлении задуманного, желаемого 8) способность возвышать (окрылять), 9) отношение к высшей силе (Žuk).

О трех ипостасях надежды говорит и Элеонора Лассан, утверждая, что это: (1) сложная ментальная установка, установка сознания, объединяющая предикаты хотеть, знать, думать, умозаключать, чувствовать и выражающая направленность в будущее; (2) психологическое чувство, основанное на доверии: тот, на кого можно надеяться, опереться; оплот; (3) эмоциональное состояние: тот (или то), кто должен (что должно) принести успех, радость, благополучие в актуально плохой ситуации (Lassan 30–50). В свою очередь, Мария Пименова утверждает, что

прототипическая ситуация надежды отображает национальное видение мира, которое специфицируется в виде четырех блоков: НАДЕЖДА – ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ (оптимизм, пессимизм); НАДЕЖДА – ПОВЕДЕНИЕ (неуверенность, решительность); НАДЕЖДА – СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (помощь, поддержка, труд, победа, встреча, деяние, спасение); НАДЕЖДА – ЧУВСТВО (сочувствие, счастье, скрываемые чувства, желание, стремление) (Pimenova 87).

Причем актуализированные модификации всех этих блоков вполне очевидны во всем тексте книги Адамовича и Гранина.

Концепт надежда включается в воплощенный в произведении **триединый концепт вера-надежда-любовь**. В дискурсе авторов записей, помещенных в *Блокадной книге*, этот концепт сохраняет свое христианское содержание – духовное спасение человека (Žuk), однако специфика его в том, что в нем поначалу отсутствует религиозный (культовый) компонент. Его он обретает лишь в ходе значительных изменений, которые происходят вовне и внутри тех, чьи записи собраны в книге, а также вовне и внутри самих авторов произведения – Адамовича и Гранина.

Перечитывая текст, можно заметить, как через умелое сочетание, компоновку документальных данных и свидетельств очевидцев Адамович и Гранин добиваются в *Блокадной книге* того эмоционального воздействия на читателя, которое иным словом как потрясение не назовешь. Если бы это было авторским вымыслом, возможно было бы говорить о натурализме и излишней жестокости, нарушении меры художественности в изображении со-

бытий тех лет. Но в том-то и дело, что это не вымысел, а у свидетельства, документа иная мера. Мера, измеряемая предельными, неимоверными человеческими страданиями.

Свидетельства, собранные Адамовичем и Граниным в *Блокадной книге*, тяжело, порой невыносимо больно читать. Эта поначалу бессознательная боль естественна, и естественно желание некоторых отложить книгу в сторону, как естествен инстинкт всего живого к самосохранению, инстинкт человека как природного существа, стремящегося избежать того, чему невольным свидетелем и сострадателем он становится, знакомясь с подобным фактическим материалом и понимая, что это не вымысел, не преувеличение автора, а правда. Но чувства человека не просто чувства живого существа, они социально обусловлены. Человеческие чувства являются и результатом культурного развития человека, и формой освоения и присвоения им своей родовой сущности, социально-исторического опыта человечества и его оценки. Переживая запечатленное в *Блокадной книге*, читатель тем самым выявляет к нему определенное отношение, которое обусловлено социально-исторически и реализуется как отношение этическое, нравственное, т. е. соотносимое в своей проекции с определенными социально-нравственными ценностями.

В *Блокадной книге* Адамовича и Гранина из отрывочных воспоминаний создается обобщенный и в то же время предельно конкретизированный образ страданий, выпавших на долю народа, живая боль, казалось бы, несовместимая с представлениями о человеческом. Вместе с тем эта боль в восприятии читателя соотносится с авторскими высказываниями, данными в тексте, с представлениями об истинно гуманном, рождающем чувство протеста против всего, что несет война. Отражая объективную реальность, зафиксированную в документальных свидетельствах и материалах, и давая читателю знание о ней, т. е. выполняя познавательную функцию, произведение в то же время несет в себе заряд активного, творческого отношения автора (субъекта) к этой отображаемой действительности. Этот заряд реализуется через формы и способы организации автором самого документального материала, непосредственные обращения к читателю и т. п., и тем самым способствует выполнению произведением, кроме гносеологической, – аксиологической, коммуникативной, социальной, воспитательной и других функций. Концентрация чувств, мощный эмоциональный накал, возникающий при восприятии имеющегося в произведении материала за счет наносимого им болевого удара, его многократности и поливариативности, диаметральной противоположности представлению о должном, достигает своего апогея, предельной, казалось бы, меры. В этом движении к пределу, к определенной завершенности на уровне чувства, отношения, оценки, мысли, общего представления,

образа – нравственное преобразуется в эстетическое, соотносясь с представлениями о прекрасном и безобразном, возвышенном и низменном, трагическом и героическом. Обращение к ним провоцирует само построение произведения, где рядом с нагнетающимися картинами „фактически ужасного” даются авторские оценки с позиций прекрасного и размышления о должном, рядом с фактами бесчеловечности – обращения к разуму и гуманности, надежда и вера в победу добра над злом. Именно они в конечном итоге и „снимают” то нагнетающееся до предела чувство боли, которое постоянно испытывает читатель, то ощущение трагизма бытия человека на войне, которое находит катарсическое разрешение в знании совершенной победы и знании, вере в самую неизбежность победы гуманного над бесчеловечным, а также прекрасного над безобразным.

Показывая своих героев в экстремальной психофизической ситуации, Адамович и Гранин не акцентируют внимание читателя на физических страданиях. Конфликтная ситуация борьбы Юры Рябинкина, Георгия Алексеевича Князева и Лидии Охупкиной с обстоятельствами и с собой дается авторами не только для того, чтобы вызвать сострадание читателя, протест против войны и против условий, в которые попали участники блокады, но и для того, чтобы в процессе сопереживания с героями, через неизбежное в критической трагической ситуации постижение смысла человеческого бытия в его сущностном значении, показать вершину духовного подвига человека.

В *Блокадной книге* Адамовича и Гранина воплощенная в образах главная мысль, в том числе осмысление переживания/чувства/концепта НАДЕЖДА, в авторских отступлениях получает свое завершенное выражение и выводится за пределы конкретной, воссозданной совокупностью личных свидетельств трагической ситуации, начинает восприниматься как обобщение. Образы авторов записей укрупняются, а конкретное осмысляется в масштабах всеобщности. Отстраняясь от нас призмой времени, как бы изъятые из сиюминутного контекста, записи Юры Рябинкина, Георгия Алексеевича Князева и Лидии Охупкиной при всей явно ощущаемой временной детерминированности, своей содержательной и формально-выразительной стороной начинают тяготеть к явлениям всеобщего порядка. Запечатленные в них факты жизни отдельных людей, судьбы которых при всей их индивидуальной неповторимости связаны с судьбой народа, страны, через единичное дают читателю представление о всеобщем, через малое – о большом.

Как и во всех, обращающихся к личным воспоминаниям произведениях, в том числе и в *ready-made* текстах, составленных из свидетельств участников и очевидцев различных событий, в *Блокадной книге* Адамовича и Гранина присутствуют два временных пласта: прошлое, которое восстанавливается по воспоминаниям и документам, и настоящее, когда эта реставрация

совершается. Апелляция к настоящему времени происходит исключительно через авторские обращения к читателю. Восприятие различных временных и стилевых пластов в произведениях, изобилующих предельно эмоционально насыщенным фактическим материалом, апеллирующих как к сознанию, так и к чувственной деятельности читателя, требует высокой концентрации духовных сил. Так возникает „двойное видение”, когда человек, попеременно меняя позицию то родового (познающего), то индивидуализированного (особым образом интериоризирующего родовую сущность, вчувствующегося, вживающегося) субъектов, оказывается способным как бы одним взглядом охватить все пространство всех разнополюсных плоскостей и усилием притянуть их друг к другу. В этом внутренне противоречивом акте познания и чувствования при переходе от безличного к личному, от интеллектуального к эмоциональному, от одного типа чувствования к другому происходит как бы их сопряжение. Этическое переходит в эстетическое, не просто соотносясь, но включаясь в него. Это взаимопроникновение и переход очевидны и на уровне самого процесса читательского восприятия подобных произведений, и на уровне выражения в логике понятий самого алгоритма этих трансформаций. В иерархии этических и эстетических категорий те из них, которые соотносятся с высшим накалом эмоционального напряжения субъекта восприятия и оценки, совпадают. Прекрасное, безобразное, ужасное, трагическое, героическое – категории этические и эстетические одновременно, а переживание трагических и героических состояний, постижение прекрасного и наслаждение при его переживании, равно как и переживание безобразного – суть человеческие эмоции, детерминированные социально-историческим и культурным уровнем развития человека. И в этом суть механизмов влияния документалистики, в том числе и *Блокадной книги* Алены Адамовича и Даниила Гранина, на читателя.

Библиография

- Adamovič, Ales', Daniil Granin. *Blokadnaâ kniga*. Web. 11.04.2021. https://libbox.ru/books/blokadnaya-kniga?page_book=231.
- Dnevnik kak psihoterapiâ*. 16.10.2016. Web. 05.07.2021. <http://safeconnection.org/ru/novosti/dnevnik-kak-psihoterapiya>.
- Krasovskaâ, Svetlana. „Pereizdanie kak ferment literaturnoj èvolûcii: Andrej Sergeev. Omnibus. Roman, rassказы, vospominaniâ, stihi”. *Znamâ*, 4, 2014. Web. 17.04.2021. <https://znamlit.ru/publication.php?id=5547>.
- Kukulin, Il'â. „Mašiny zašumevšego vremeni (Kak sovetskij montaž stal metodom neoficial'noj kul'tury)”. „*Blokadnaâ kniga*”: refleksii, priglušennaâ socrealizmom. Web. 17.07.2021. <https://culture.wikireading.ru/28937>.

- Kutuzova, Dar'â. *Čto takoe „narrativnyj podhod v terapii i rabote s soobšestvami”*. Web. 05.07.2021. <http://hpsy.ru/public/x3833.htm>.
- Kutuzova, Dar'â. *Terapevtičeskoe vedenie dnevnika po metodu Ajry Progoffa*. Web. 17.06.2021. <http://hpsy.ru/public/x3633.htm>.
- Lassan, Èleonora. „Koncept «nadežda» v rusškoj âzykovej kartine mira”. Èleonora Lassan. *Lingvokul'turologiâ. Očerki rusškoj konceptologii*. Vil'nûs, Vil'nûsskij pedagogičeskij universitet, 2008, s. 30–50.
- Nelûbin, Nikolaj. „Lûdi hotât znat'”. *Čto cenzura udalâla iz „Blokadnoj knigi” Adamoviča i Granina*. 27.01.2021. Web. 17.07.2021. <https://www.fontanka.ru/2021/01/27/69728696/>.
- Pimenova, Marina. „Metod opisaniâ konceptual'nyh struktur (na primere koncepta nadežda)”. *Učenyje zapiski Zabajkal'skogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogičeskogo universiteta im. N.G. Černyševskogo. Seriâ: Filologičeskij, istoričeskij, vostokovedenie*, 2 (37), 2011, s. 85–93. Web. 17.07.2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-opisaniya-konceptualnyh-struktur-na-primere-kontsepta-nadezhda/viewer>.
- Radbil', Timur. *Osnovy izučeniâ âzykovogo mentaliteta. Učebnoe posobie*. Moskva, Flinta–Nauka, 2016.
- Svetlana Aleksievič otmečâet 70-letie. 31.05.2018. Web. 10.02.2021. <https://www.belta.by/culture/view/svetlana-aleksievich-otmechaet-70-letie-304880-2018/>.
- Žuk, Maksim. *Koncepty VERA, NADEŽDA, LÛBOV' v idiosstile Bulata Okudžavy. Avtoreferat dissertacii ... kandidata filologičeskijh nauk*. Vladivostok, 2007. Web. 17.07.2021. <https://www.dissercat.com/content/kontsepty-vera-nadezhda-lyubov-v-idiosstile-bulata-okudzhavy>.